Исай КУЗНЕЦОВ

# Мгновение

Это было давно, в самой ранней моей молодости. Я шел по Арбату. И, как это часто бывает именно в ранней молодости, меня одолевали самые мрачные мысли – не вполне осознанные сомнения в себе, в своем будущем, да и вообще в самом смысле существования. Был вечер, солнце стояло невысоко, и только окна в верхних этажах по левой стороне Арбата отражали его предзакатное сияние.

Не помню откуда и куда я шел, может, ходил в кино, а может, просто бродил по улицам. И вдруг я увидел девушку. Она шла мне навстречу, размахивая маленькой, на тонком ремешке, сумочкой, в белом, расцвеченном синими васильками платьице. Я увидел ее и остановился. Остановило ее лицо. Нет, она вовсе не была красавицей. Просто она сияла. Сияла... Нет, не то слово. Не знаю, как это описать. На лице ее отражалась радость. Радость жизни. И готовность поделиться этой радостью с первым встречным, со всеми.

Взглянув на меня, она улыбнулась. Мне. Именно мне. И прошла мимо.

Вот и все. Прошла, а я стоял и смотрел ей вслед.

Мрачные мысли куда-то исчезли, мне сделалось легко и весело. Я пошел дальше, что-то насвистывая.

Мгновение... Но это мгновение осталось в памяти на всю жизнь.

Как и те несколько дней на берегу Днепра у переправы на Букринский плацдарм в октябре сорок третьего года. Всего несколько дней, по существу, тоже – мгновение...

Последний паром замкнул цепочку моста в полной темноте. Издалека доносился рокот приближающихся танков. Я шел от моста, мимо замаскированных зениток, увязая в песке, неуверенный, что в этой кромешной тьме разыщу свое жилище.

Невдалеке от берега, среди помятых, поломанных кустов ивняка, стояла большая квадратная палатка. У входа – белый флажок с красным крестом, еле различимый в темноте. Пункт первой помощи.

Чтобы попасть к себе, надо пройти от палатки еще метров триста вглубь рощицы. Я остановился, пытаясь сориентироваться, и услышал высокий, едва ли не мальчишеский голос, читавший стихи.

– До двух несметного неба
мигали богатства.

Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечгаса
Показывалася на опушке пастух.
Я тоже любил...

Я стоял и слушал, глядя вверх, на то самое небо с несметными богатствами звезд, но разрезанное красноватыми линиями трассирующих очередей, наполненное гулом невидимых, высоко летящих бомбардировщиков. А юношеский голос продолжал:

...и она пока еще
Жива, может статься...
Я тоже любил.
Но ее уже нет...

Задерживаясь у нее допоздна, я возвращался домой в Останкино светлыми июльскими ночами и, чтобы не замечать время и расстояние, читал про себя стихи. Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Маяковского, Багрицкого, Пастернака. Хватало на всю двухчасовую дорогу, хватило бы и на более долгую. И эти, мои любимые:

– По-прежнему давнее
кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши
с лиц очевидцев,
Безумствует быль,
представляясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.

Какое-то время в палатке царило молчание. Потом женский голос произнес с выдохом – "Хорошо". И чуть позже – "Еще!"

Я боролся с желанием откинуть полог и войти. Не вошел, стоял и слушал.

– Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Приду, сниму пальто...

– Не надо! – оборвал чтение тот же женский голос, – Об этом не надо!

– Да, пожалуй, – согласился тот, кто читал.

Оба замолчали. Уже отчетливо, совсем близко раздавался скрежет и урчание подходивших к мосту танков.

– Танки пошли.. – я не разобрал, кто это произнес – он или она.

Я уже дотронулся до брезентового полотнища, прикрывающего вход в палатку, чтобы войти и взглянуть на того, кто читал Пастернака, и на ту, что слушала. Не решился. Ушел.

Я лежал в одном из шалашей, оставленных теми, кто первым форсировал Днепр и сейчас вел бой на плацдарме. Крытые ивовыми ветками, шалаши сливались с невысоким кустарником и были неразличимы для самолетов. Крохотный шалашик, почти нора. Пахло прелыми, засохшими листьями, вялой травой, служившей подстилкой. Я лежал и повторял про себя только что услышанные стихи.

– Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть...

На вечерах, по праздникам, я читал солдатам Симонова, Твардовского, Маяковского. Иногда Пушкина. Никогда Пастернака. Он остался там, в том времени, которое безумствует, притворясь незнающим, что его нет, и которое никогда уже не вернется.

Совсем близко, почти рядом ухали зенитки, пронзительно завывали пролетающие над самой моей головой мессершмидты. Где-то, наверно, у самого моста грохотали взрывы...

Неожиданно все стихло, по-видимому, танки прошли на плацдарм. Нет, не стихло, просто грохот разрывов и гудение самолетов отдалилось, переместилось дальше, за Днепр. Я уснул.

На другой день, проходя мимо санитарной палатки, я увидел Алеху Пыжикова, нашего санинструктора, свертывающего у полупотухшего костра толстую самокрутку. Рядом, подогнув под себя ногу, сидела девушка, ворошившая суковатой палкой догорающие угольки. Чуть в стороне мальчишка лет двенадцати, в мешковатой, не по росту солдатской гимнастерке, с черными пуговками раскосых глаз, уплетал, обжигаясь, только что испеченную картошку.

– Познакомься со своей землячкой, – сказал Пыжиков.

Девушка подняла глаза, посмотрела на меня с интересом.

– Вы москвич? – спросила она, и я узнал голос, который слышал ночью.

– Да, москвич.

Она, не вставая, протянула мне руку.

– Меня зовут Зоей, – сказала она.

Ладная, с погонами медстаршины и орденом Красной Звезды на аккуратной гимнастерке, коротко стриженные под мальчишку светлые волосы, голубые, внимательные глаза, сдержанная, чуть заметная ироническая улыбка. Медсестра. Как и та, что погибла на Западном фронте в декабре сорок второго. Только эта – светловолосая. И глаза не черные, голубые...

– Никакая она не Зоя, – усмехнулся Пыжиков, – ее зовут Нина.

– У меня два имени, – она улыбнулась чуть шире. – Говорят, будто двойное имя приносит счастье, – слово "счастье" она слегка растянула, – Не знаю, правда ли это.

Мне захотелось, чтобы это было правдой.

Наверно, мой взгляд говорил больше, чем мне того хотелось, потому что она смутилась и кивнула на мальчишку.

– А это мой приблудный помощник Абдулайка.

Абдулайка широко осклабился измазанным золой ртом и протянул мне черную обугленную картофелину.

Я присел, перекидывая картошку из руки в руку – она оказалась слишком горячей.

– Где вы жили в Москве? – спросила Нина-Зоя.

– В Останкине.

– А я на Трубной. Почти соседи.

– Да, полчаса на трамвае. На девятке.

– Трамвай... Девятка... – протянула она задумчиво. – Где-то ходят трамваи. Не могу себе представить. Трамваи...

– Кто здесь говорит о трамваях?

Я обернулся. Передо мной стоял молоденький лейтенант, судя по голосу, именно он читал Пастернака. Невысокий, худощавый, в застиранной гимнастерке и выцветшей пилотке, из-под которой выбивалась темно-русая прядка. Он смотрел на меня с легкой улыбкой, слегка застенчивой.

– Это я говорил о трамвае.

– Женя Разиков, – он протянул мне руку. – А вы москвич. Узнаю москвичей с первого взгляда.

То, как человек пожимает твою руку, много говорит о нем самом. Женя протягивал ее доверчиво, пожимал крепко, глядя прямо в глаза.

Прошло более полувека, целая жизнь – я знаю многих, чья жизнь уложилась и в более короткие сроки... Все изменилось. Изменилась страна, изменился мир, да и мы уже не те, какими были когда-то. И не только потому, что постарели.

Но в моей памяти и Женя, и Нина-Зоя остались и навсегда останутся такими, какими я их знал, недолго – каких-нибудь семь-восемь дней – короткое фронтовое знакомство, так сразу и естественно возникшая близость, доверительность и открытость трех, случайно встретившихся москвичей.

Пристроившись где-нибудь на песке у костра, прячась от дождя в чьей-нибудь палатке или на берегу, в темноте, под холодным, усыпанным звездами небом – а ночи были на редкость звездными, – мы вели нескончаемые разговоры, предавались воспоминаниям, каждый своим и вместе с тем общим. О войне, о сегодняшнем почти не говорили.

С Женей Разиковым, едва ли не в первый же день мы перешли на "ты". Нина-Зоя говорила "ты" только Жене. Со мной была на "вы".

Нина Кудрявцева, которая называла себя Зоей... Я не понимал, почему. Может быть, в память о Зое Космодемьянской, может, так звали ее погибшую подругу – я не спрашивал. Понимал – это имя было для нее талисманом, своего рода оберегом.

В отличие от впечатлительного, порой даже восторженного Женьки, она была сдержанна, больше слушала, чем говорила сама. Она была хирургической сестрой. Я видел, как она вместе с двумя своими помощницами санитарками оказывала первую помощь раненым. Спокойная, сосредоточенная, суровая и в то же время – нежная.

Раненых в ее палатку доставляли немного, но, как правило, четыре койки редко пустовали. Одних увозили в госпиталь, появлялись другие: мост бомбили непрерывно. Ужаживал за ранеными и Абдулайка.

Я как-то спросил, не собирается ли она после войны стать врачом.

– Нет, – сказала она твердо. – Насмотрелась достаточно. На всю жизнь.

– А кем?

– Не знаю. Зачем об этом думать. Пусть кончится война. Буду жива – подумаю. Может, в учителя пойду. С детьми интересно, – и она подмигнула Абдулайке, который в ответ расплылся в широкой улыбке.

Я удивлялся – откуда здесь, на Днепре, в разгар боев взялся этот подросток казашенок. Оказалось, что его мать и отец, служивший на границе, погибли в первый же день войны. Как он уцелел за два года немецкой оккупации, непостижимо. Из его сбивчивых, на чудовищном русском языке рассказов следовало, что его приютила и прятала от немцев какая-то старуха. Потом, если ему верить, он оказался в услужении у немецкого офицера "оберта", как он выразился, которого, по-видимому, забавляла его экзотическая для немца физиономия. В конце концов он попал к партизанам, с которыми, по его словам, "лупил" немцев. Что было в его рассказах правдой, что детскими домыслами, понять было невозможно. Впрочем, все могло быть.

К Нине-Зое, сюда в палатку, он пришел голодный, оборванный в первый же день ее пребывания на берегу. Нина накормила его, одела в свою старую гимнастерку, и он привязался к ней едва ли не как родной матери. Не отходил от нее ни на шаг, выполняя все ее поручения. Умудряясь при этом не быть слишком надоедливым. Всегда при ней и всегда чуть в стороне. Глядя на них, я понимал, что с детьми ей не просто интересно. Она их любит.

– Почему? – спросила она как-то.

– Почему я вспоминаю, как мы с мамой и сестрой пьем чай с баранками, а кошка Чапа спит у меня на коленях и мурлычит? Что в этом такого? Если вдуматься, даже скучно. Мне с детства хотелось, чтобы что-нибудь случилось. Пожар, наводнение.

– Вот и случилось, – усмехнулся Женя.

– Да, война. Но это тоже скучно. Отвратительно и скучно. Вы оба такие умные, скажите, что человеку нужно?

Вопрос вопросов, подумал я.

– Каждому свое, – сказал Женя. – Мне, например – стол, лампа, лист бумаги. Тебе – ребенок.

– Дурак ты, Женька! – вспыхнула Нина и, помолчав, вздохнула, – Впрочем, угадал. И не одного. Двух-трех.

– Кончится война... – начал было Женя и, недоговорив, замолчал.

Войне конца не было видно. Да и кто знает, увидим ли мы ее конец?

Не знаю, где они познакомились, Женя Разиков и Нина-Зоя. Кажется, раненый, он лежал в госпитале, где она служила. Не уверен, что это так, да это и неважно. Во всяком случае здесь, на Днепре, они встретились, хорошо зная друг друга. И, конечно, Женька был влюблен в Нину, хотя старался ничем себя не выдать, может, потому, что она была чуть не на голову его выше и года на три старше. И в силу природной своей застенчивости.

Нина была не просто хороша собой, но и несла в себе какую-то особую женскую значительность, если не сказать, – тайну. И разумеется, многие пытались добиться того, что, по словам Остапа Бендера, добивался некий Остен-Сакен от польской красавицы Инги Зайонц. Однако безуспешно. Она отшивала докучливых поклонников откровенным пренебрежением, иногда насмешкой, а то и пощечиной, как это случилось у меня на глазах с нашим понтонером Геннадием Збруевым, щеголявшим матросской тельняшкой под расстегнутым воротом гимнастерки.

Она, конечно, понимала, что Женька влюблен в нее, я видел, что и он нравится ей, однако нисколько не поощряла его к признаниям и тем более к решительным действиям. Была еще причина для сдержанности Жени: он знал, что Нина переписывается с другом юности, летчиком, с которым расталась в июне сорок первого.

Не знаю, кем и в каких частях служил Женя Разиков. Помню только, что часто встречал его на мосту, возвращающегося с плацдарма.

Двадцать первого года рождения, он, как и мой младший брат, был призван в армию еще до войны, прямо со студенческой скамьи. Моложе меня на пять лет. Однако разницы в возрасте я не ощущал.

Вечерами, пристроившись на песчаном холмике, иногда с Ниной, иногда вдвоем, делились воспоминаниями о Москве, рассказывали о себе, читали друг другу любимые стихи. Женя вспоминал друзей, девушку, которая провожала его в армию, и вот уже два года не отвечает на его письма, вышла замуж за его одноклассника, освобожденного от армии. Рассказывал о встречах с Паустовским, одобрившим его первые опыты – рассказы. Читал свои стихи.

...В моей землянке фронтовой
Живет сирень в стеклянной банке.
Снаряд рванется у дверей,
Придавит порохом дыханье...
Мне вместе с нею веселей –
Далекой, как воспоминанье.
Я все один, и ночь и день.
Жизнь краски и черты теряет
И только юная сирень
Меня, как прежде, согревает.

Прочтет и тут же смущенно оговорится, дескать, это пустяки, я не поэт, так, баловство. Хочется писать прозу. Но проза требует усидчивости, ее на ходу не сочинишь.

Как-то я прочел ему стихи Мирона Левина.

На дороге фронтовой
Умирает рядовой.
Он, дурак, лежит, рыдает
И не хочет умирать,
Потому, что умирает,
Не успев повоевать.
Он, дурак, не понимает,
Что в такие времена
Счастлив тот, кто умирает,
Не увидев ни хрена.

Женя долго молчал.

– Кто он, этот Мирон Левин? – спросил он.

– Ленинградец. Умер в Ялте, от туберкулеза, в самом начале войны.

– Хорошие стихи... – сказал он задумчиво. – Только счастье не в том, чтобы ни хрена не видеть... даже в такие времена. Ты должен видеть все! Должен! Прочти еще!

Я прочел еще несколько коротких стихотворений Левина. В том числе одну подлинней – "Балладу разумного старика".

...Мне б жить и жить!
Других желаний нет!
До сотни лет готов я жить
На лучшей из планет!..
Но час пробьет и я умру.
Поплачьте надо мной.
И со слезами поутру
Заройте в шар земной!

– До сотни лет готов я жить! – повторил Женя. – Кто из нас доживет до сотни? Хотя бы до победы. Давай доживем! А? Назло немцам – доживем! И пройдемся по Москве все вместе, ты, я и Нинка!

Пройтись нам втроем по Москве не довелось.

Бои на Бруклинском плацдарме зашли в тупик, прорвать оборону немцев не удалось и нас перебросили северней, в район Лютежа.

Прощаясь с Женей и Ниной-Зоей, мы обменялись адресами.

Они сохранились, несколько писем, на случайных листках, кое-какие написанные карандашом. Вот одно из них.

Дорогой Исай! Только что получил письма от тебя и от Нины-Зои. Странно, как совпало наше настроение, воспоминание о Днепре, случайном, но прочном знакомстве трех земляков, вдали от родной и милой Москвы. Частенько думаю о том периоде жизни. Еще тогда, в октябре, я чувствовал, что с грустью буду вспоминать о том времени.

И дороже дома станут
Позабытые в тиши,
Реки, рощицы, курганы,
Фронтовые шалаши...

Сейчас почти все время на передовой. Друзей нет, не с кем поделиться воспоминанием о прошлом, не с кем поговорить искренне. Безразличие губит мысль и оттого горько и тяжко...

Мои коллеги окончили институты, работают в Москве. Пишут о театрах, об огородах, о новых браксосочетаниях. Живут. Живут, не дожидаясь конца войны. А я... Правда, подцепил третью звездочку, получил орден Отечественной войны второй степени, а к нашему наименованию Винницкой, прибавилась "Львовская". Идем вперед в тех местах, где нас именуют панами и расплачиваются злотыми. Но становится обидно, что собственная дорога затерялась в суматохе и сумерках времени. Где она? Да и трудно говорить и думать о ней сейчас, когда каждый прожитый день является случайным.

Ну, будь здоров, друже! Пиши чаще. Твой Женя.

19 августа 1944 года.

И еще одно письмо. От Нины-Зои, написанное через три месяца.

Здравствуйте, Исай! Вашу открытку от 30 октября получила и благодарю за память. Теперь письма ко мне будут идти только с двух сторон, от мамы и, может быть, от Вас, если не забудете землячку. В последние дни на меня так и катятся несчастья. Во-первых, погиб "он". Это Эдька, которого знала до войны и, может быть, любила. О его смерти я узнала из письма медсестры госпиталя, в котором он умер.

Во-вторых, никогда, ни я, ни Вы не получите писем от Жени. И никогда мы не встретим его в Москве. Женечка погиб в боях за Родину. Был тяжело ранен в правую ногу, пролежал в госпитале около недели, затем, по-видимому, началась газовая гангрена и он умер.. Через два дня после его смерти его товарищ Сергей Большаков получил мое письмо к Жене и решил мне ответить, по-видимому, считая меня какой-нибудь ППЖ. Я написала ему, так как он обещал в следующем письме выслать Женину фотографию, что мне очень дорого. Кто знает, может, погиб и он...

Вот, теперь мое письмо Вам не понравится. Да?

Я первое время плакала много, потом меньше. Ведь этим не поможешь и их не вернешь. Что же делать, если получается не так, как хотелось бы.

Вы спрашиваете про Абдулайку. Он сейчас находится в одной из дивизий нашей армии, пригрел его какой-то капитан, он у него вроде адъютанта. Летом я его видела. Стал почти взрослым, даже усы пробиваются. Но все равно, такой же потешный. Изредка пишет, но так коверкает слова и мое имя, что и представить невозможно.

Кончаю, а то Вашего терпения не хватит. Привет Пыжикову. Уважающая вас Нина.

22 ноября 1944 года. Венгрия.

Осенью сорок шестого, вскоре после демобилизации, я решил повидать Нину-Зою и отправился на Трубную.

Дома я застал ее сестру, девушку лет девятнадцати, такую же высокую, в чем-то похожую на Нину.

– Вы Исай Кузнецов? – улыбнулась она, когда я назвал себя, – Нина писала о вас и о Жене Разикове, она очень хорошо писала о вас.

– А где она?

– Она... ее нет... – и, отвернувшись, проговорила тихо, – Нина умерла.

– Умерла?!

Девушка обернулась. В глазах у нее стояли слезы.

– У нее было больное сердце. Ее демобилизовали еще до конца войны. До победы она не дожила.

– Больное сердце?! Как же ее взяли в армию?

– Если бы вы лучше ее знали, то не спрашивали.

Я знал ее достаточно, чтобы понять то, что имела в виду сестра. Сестру звали Зоей.

Я шел по Москве. Шел один. По Трубной, по Неглинной, через Театральную площадь, по Тверской, к памятнику Пушкину... Шел по маршруту, по которому мысленно ходили тогда, на Днепре. Они шли со мной, Женя и Нина. Шли и молчали. Это была не та Москва, которую они оставили в сорок первом. Не та, которая виделась им в мечтах.

Это была другая Москва, Москва сорок шестого, послевоенная, совсем другая. И те, что шли навстречу, были другими.

Кто знает, быть может и правда, что время так же материально, как и пространство, и ничто не исчезает, а лишь перемещается куда-то, по еще не открытым законам.

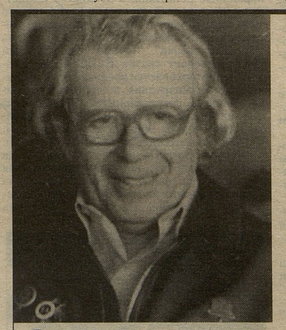
И может быть, где-то, в запредельных пространствах Вселенной куда-то движется это мгновение – мы, трое, сидим на песке у берега Днепра, издалека доносятся приглушенные расстоянием уханья разрывов, небо, полное звезд, прорезают красные пунктиры трассирующих пуль, и эти двое, молодые, красивые, милые – живы. Они улыбаются, смеются, вспоминают. Вспоминают другие мгновения, давно минувшие, но такие им дорогие.

А может быть, это только в моей памяти живет это мгновение, оно уйдет, исчезнет вместе со мной и ничего, ничего не останется от него, даже эти записи не в силах восстановить и сохранить его таким, точно таким, каким оно было, – те несколько дней под Букринским плацдармом, случайное, но прочное знакомство трех земляков.

● *Исай Кузнецов*
● *Евгений Агранович*
● *Гравюра Стасиса Красаускаса*

# Мелочь в дырявом кармане

Евгений АГРАНОВИЧ



**Первое решение.**

Летчик, красивый и удачливый, любимец армии, первая у нас "Золотая звезда". Думает хорошо и умеет ладно сказать, что надумал.

– Первое решение правильное, второе – пагубное.

Так он сказал, впечатал в меня этот постулат.

Много лет следую правилу, но вот заколебался. А всегда ли эта аксиома помогала?

И надо же, на встрече ветеранов вижу летчика. Жив человек! Сед, но узнать можно.

– Вот ты говорил, – напоминаю, – первое решение... А почему, собственно?

Посмотрел серьезно.

– Смотри, запомнил. И принял к руководству?

–Да, вот уже полвека.

– И не приходилось жалеть?

– По правде сказать, были случаи. Но я так тебе верил.

Летчик вздохнул виновато:

– Родной, так я имел в виду решение в бою, в воздушном бою. Первое правильное просто потому, что первое. А второе пагубное, уже нет времени его выполнять. Пока размышляешь, меняешь решение, машина уже горит. А тебе, когда стоишь перед важным решением, лучше бы действовать по наземной пословице" – Семь раз отмерь."

**Предусмотрительность**

Автор кладет на стол издателя рядом с папкой-романом квадратик гербовой бумаги.

– Это что?

– Это, знаете ли, из ЗАГСа, свидетельство о смерти.

– Чьей смерти?

– Автора. Извините, моей.

– Боже, зачем?!

– А у вас обычно, пока не помер, печатать не хотят.

**Удача**

Наконец-то удача, какой уже и не ждал мой приятель – толстый журнал напечатал его рассказ, выстраданный, любимый, да как! На роскошной бумаге, с двумя портретами и лестным предисловием. Давно ждал, мечтал невезучка-автор надписать свежий, пахнущий краской номер и подарить старшему другу, авторитету с детских лет.

И вот свершилось. И что же? Рассказ не понравился вдрыг, совершенно. Старший ни единого доброго словечка выдавить не мог. И ни в какой недоброй воле не заподозришь, совершенно искренне отверг рассказ. А что делать, прикажешь лгать, притворяться?

Приятель мой в отчаянии.

– Погоди убиваться, – говорю, – я произведу маленькое расследование.

И уже через несколько дней я мог доложить ответственно:

– Исключительно твоя вина. Ты сунул Старшему неудачный экземпляр журнала. В остальных двадцати тысячах книжек тиража – твой хороший рассказ. А в трех из них – даже замечательный!

**Искусство и действительность.**

О, читатели! Бескомпромиссные, неподкупные судьи литературы, вы подвергаете жесткой проверке каждую строку повести, пытаясь точно установить, умеет ли автор писать? Всегда не умеет. А вы склонны и поучить.

Вы подвергаете сочинение анализу, в первоначальном значении слова – разъятие на составляющие элементы и оценка их по отдельности и в совокупности.

А зачем, на кой черт?

Анализ салата, начинки пирога с разложением на исходные крупицы.

А ваше дело – оценить вкус, букет целого, насытиться и насладиться.

Но вот вы погружаетесь в рассказ. Все краски, интонации, находки слога и сюжета – чепуха, шелуха, лишнее, только скрывающее суть. Не проведешь! Читатель прорвется к главному: так ли в жизни, в действительности, как в рассказе? Нет, всегда нет! Правда жизни нарушена в следующих ста пунктах: воевали иначе, говорили другое, где вы видели таких солдат? И тому подобное.

Действительность искажена.

А ведь литература – тоже действительность, но иная. И не менее реальная и значимая в нашей жизни, чем факты. "Война и мир" Толстого охватила своим влиянием куда большее число людей, чем участвовало в самой Отечественной войне. И по сей день во всех читающих странах, в каждом доме торжествует правда искусства. Но, может быть, правда документальная была правдивее? Кто докажет? Нет свидетелей. Так вот вам письменное показание. На фронте за 4 года я не раз видел Жукова. И свидетельствую: Михаил Ульянов на экране гораздо более Жуков, чем сам Георгий Константинович.